

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	5
------------------	---

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приезд	7
Номер 34	15
В ресторане	18

ГЛАВА ВТОРАЯ

О крестильной купели и о дедушке в двойном образе	24
Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа	34

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Достойная омраченность	44
Завтрак	47
Шалости. Последнее причастие. Прерванное веселье	54
Сатана	64
Острота мысли	74
Лишнее слово	79
Ну конечно, женщина	84
Господин Альбин	89
Сатана делает оскорбительное для чести предложение	92

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Необходимая покупка	104
Экскурс в область понятия времени	114
Он пытается говорить по-французски	118
Политически неблагонадежна	123
Хипше	128

Психоанализ.....	139
Сомнения и рассуждения.....	145
Разговоры за столом.....	149
Появляется страх. Два деда и поездка в сумерках на челноке.....	157
Градусник.....	178

ГЛАВА ПЯТАЯ

Суп вечности и внезапное прояснение.....	203
Боже мой, я вижу!.....	226
Свобода.....	244
Капризы Меркурия.....	251
Энциклопедия.....	262
Humanioга.....	279
Изыскания.....	297
Хоровод мертвецов.....	319
Вальпургиева ночь.....	360

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Перемены.....	391
Еще некто.....	417
О граде Божьем и о лукавом избавлении.....	437
Ярость. И еще нечто крайне тягостное.....	465
Отбитая атака.....	480
Operationes spirituales.....	497
Снег.....	529
Храбро, по-солдатски.....	561

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прогулка по берегу моря.....	610
Мингер Пеперкорн.....	618
Vingt et un.....	627
Мингер Пеперкорн. (Продолжение).....	649
Мингер Пеперкорн. (Окончание).....	695
Демон тупоумия.....	708
Избыток благозвучий.....	721
Очень сомнительное.....	742
Ссоры и обиды.....	775
Удар грома.....	802

ВСТУПЛЕНИЕ

История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, — отнюдь не ради него (поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком), — излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания (причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история, а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история). Так вот: эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего.

Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее, даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она — прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами; однако приходится признать, что она, так же как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старше своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов — не числом обращений Земли вокруг Солнца; словом, она обязана степенью своей давности не самому *времени*; отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем.

Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный, скажем следующее: особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание... Она происходит, или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно

уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда незадолго до него; но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому «перед тем»? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе не лишена некоторой связи со сказкой.

Мы будем описывать ее во всех подробностях; точно и обстоятельно, — ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной.

Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. Семи дней недели на нее не хватит, не хватит и семи месяцев. Самое лучшее — и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст Бог, все же не понадобится.

Итак, мы начинаем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИЕЗД

Всамый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на три недели — погостить.

Из Гамбурга в Давос — путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южно-германского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря, потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам, над безднами, которые долго считались неисследимыми.

Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями: в местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания в малопривлекательной ветреной местности вам наконец подадут вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки, упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области.

Ганс Касторп — так зовут молодого человека — с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспита-

теля — консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем, — Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе; он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке — *Ocean steamships*¹, которую он в начале путешествия время от времени изучал; но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое хриплое дыхание врвалось в окно, осыпал его пальто угольной пылью.

Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, — а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни, — от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами, — отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось с боку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени; с каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительные. Подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, переносит его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время — Лета; но и воздух дали — такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато — быстрее.

Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя, и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей — о только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантом к «Гундеру и Вильмсу» (судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские), и желал одного, — чтобы эти три недели прошли как можно скорее, — желал со всем нетерпением, на какое, при своей уравновешенной натуре, был способен. Но теперь ему начинало ка-

¹ «Океанские пароходы» (англ.). — Здесь и далее примеч. пер.

заться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади, главное — они лежали где-то глубоко внизу под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждые ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко? Ему уже хотелось поскорее добраться до места: ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде, и это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, в сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно: поезд полз, извиваясь по узкой расселине; были видны передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа, внизу, шумели воды; слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении; тогда все путалось, и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантазмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебя несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом замирании и оскудении жизни у него вдруг закружилась голова и ему стало не по себе; он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, — перевал был преодолен. И тем спокойнее поезд побежал по горной долине.

Было около восьми часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро, его воды казались стальными, чер-

ные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам; чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем, и глаз встречал только нагие, мглистые скалы.

Поезд остановился у маленькой станции, — это была Давос-деревня, — Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название: он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Цимсена, и этот неторопливый гамбургский голос проговорил:

— Ну здравствуй! Что же ты не выходишь? — И когда Ганс высунулся в окно, под окном, на перроне, оказался сам Иоахим, в коричневом демисезонном пальто, без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: — Вылезай, не стесняйся!

— Я же еще не доехал, — растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая.

— Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи.

Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом и тростью, и даже книгу *Ocean steamships*. Затем пробежал по узкому коридору и спрыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь больше всего на свете выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Это давно вошло у них в привычку.

Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку, причем молодой Цимсен держался совсем по-военному; затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию, — это был портье из интернационального санатория «Берггоф»; он сказал, что получит большой чемодан приезжего на станции «Курорт», а экипаж доставит господ прямо в санаторий, они как раз поспеют к ужину. Портье сильно хромал, и первый вопрос, с каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был:

— Он что — ветеран войны? Почему он так хромает?

— Ну да! Ветеран войны! — с некоторой горечью отозвался Иоахим. — Это болезнь сидит у него в коленке, или, верней, сидела, ему потом вынули коленную чашку.

Ганс Касторп понял свою оплошность.

— Ах так! — поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. — Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров. — И он искоса посмотрел на двоюродного брата.

Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Цимсен принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине, а и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал:

— Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться...

— Вместе с тобой? — удивился Иоахим и обратил к нему свои большие глаза, в которых и раньше была какая-то особая мягкость, а теперь, за минувшие пять месяцев, появилась усталость и даже печаль. — Когда это — вместе с тобой?

— Ну, через три недели?

— Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой, — заметил Иоахим. — Но ведь ты еще только приехал. Правда, три недели для нас здесь, наверху, — это почти ничто. Но ты-то явился в гости и пробудешь всего-навсего три недели, для тебя это очень большой срок! Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом — дело не только в климате: тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется, и насчет того, чтобы «через три недели вернуться домой», это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится, как нам постоянно твердит Беренс; а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще полгода мне уж наверняка здесь придется просидеть.

— Полгода? Ты в своем уме? — воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее — просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке; когда гнедые тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на

жестких подушках сиденья. — Полгода? Ты и так здесь уже почти полгода! Разве можно терять столько времени?!

— Да, время, — задумчиво проговорил Иоахим; он несколько раз кивнул, глядя перед собой и словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. — До чего тут бесцеремонно обращаются с человеческим временем — просто диву даешься. Три недели для них — все равно что один день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь... — И добавил: — Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе.

Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним.

— Но ведь ты все-таки замечательно поправился, — возразил он, качнув головой.

— Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю, — согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья; однако опять сполз и сел боком. — Конечно, мне лучше, — продолжал он, — но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание, это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое, есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве.

— Какой ты стал ученый, — заметил Ганс Касторп.

— Нечего сказать, приятная ученость! Как мне хотелось бы вместо санатория очутиться в армии и вытряхнуть всю эту ученость из головы, — ответил Иоахим. — А потом у меня все еще появляется мокрота, — он небрежно и раздраженно передернул плечами — новый для него жест, который ему не шел, — затем из бокового кармана вытащил до половины некий предмет, показал кузену и тут же спрятал; это была плоская, слегка изогнутая фляжка синего стекла с металлической крышкой. — Такие штуки носит с собой большинство из нас здесь, наверху, — пояснил он. — И прозвище ей дали весьма остроумное. А на пейзаж ты обратил внимание?

Ганс Касторп и так смотрел во все глаза.

— Замечательно, — сказал он.

— В самом деле? — спросил Иоахим.

Оставив за собой неравномерно застроенную длинную улицу, которая тянулась вдоль узкоколейки, они свернули влево, перешли через полотно железной дороги, через мост над потоком, и экипаж стал подниматься в гору по отлогому шоссе, навстречу лесистым склонам. Там, на поросшей травой площадке, немного выше курорта, стояло длинное здание, обращенное фасадом на юго-запад, с увенчанной куполом башенкой и множеством балкончиков, благодаря чему оно издали напоминало пористую губку со множеством ячеек; в этом здании уже вспыхивали вечерние

огни. Быстро надвигались сумерки. Легкое сияние зари, ненадолго оживившее затянутое тучами небо, уже угасло, и природа погрузилась в то переходное состояние — тусклое, мертвенное и печальное, — которое предшествует окончательному наступлению ночи.

Длинная, слегка изгибающаяся между гор долина с ее селениями теперь тоже повсюду осветилась, и не только она: места-ми загорелись огни и на обоих ее склонах — на правом, крутом, где террасами поднимались строения, и на левом, покрытом лугами, по которому разбегались тропинки, терявшиеся в плотной черноте хвойных лесов. Далекие кулисы гор там, где долина сужалась, были окрашены в синевато-серый цвет. Поднялся ветер, вечерний холодок давал себя знать.

— Нет, говоря по правде, я не нахожу все это уж таким потрясающим, — заметил Ганс Касторп. — А где же у вас тут глетчеры, фирны, мощные горные гиганты? Эти вершинки вон там, по-моему, не бог весть как высоки.

— Нет, они высокие, — возразил Иоахим. — Видишь, где проходит граница лесов? Она почти всюду очень отчетлива, там кончаются ели, а с ними кончается, все и уже ничего нет, только скалы, как ты, вероятно, заметил. Видишь, справа от Шварцхорна — высокий зубец? Там есть даже глетчер! Вон то, синее... Он не велик, но это настоящий глетчер, все как полагается, глетчер Скалетта. А там — Пиц Мишель и Тинценхорн, отсюда их не видно, они всегда покрыты снегом, круглый год.

— Вечным снегом, — проговорил Ганс Касторп.

— Да, если хочешь, вечным. Все эти горы, конечно, очень высоки. Но ты подумай, ведь мы сами находимся отчаянно высоко. Тысяча шестьсот метров над уровнем моря. Поэтому мы их высоты и не замечаем.

— Да, ну и лезли же мы сегодня вверх! Признаюсь, меня прямо жуть брала! Тысяча шестьсот метров! Это приблизительно пять тысяч футов, если не ошибаюсь. В жизни своей не был на такой высоте. — И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдохнул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж — и только. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.

— Превосходно! — заметил он из вежливости.

— Да, воздух тут знаменитый. Впрочем, местность показывает себя сегодня вечером не с лучшей стороны. Иногда все видно гораздо яснее, особенно при снеге. Но в конце концов эти пейзажи быстро надоедают. Нам всем здесь, наверху, они ужасно надоели, можешь мне поверить, — закончил Иоахим, и его губы скривились гримасой отвращения. У Ганса Касторпа невольно